

ВВЕДЕНИЕ. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ¹

О. Ю. Малинова, А. И. Миллер

Этот сборник подготовлен по материалам конференции «Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе», состоявшейся в Европейском университете в Санкт-Петербурге 11–12 ноября 2019 г. В конце этой вводной статьи мы расскажем о структуре книги и представим включенные в нее тексты. Но прежде поговорим подробно о подходах к изучению символической политики и специфике ее реализации в области политического использования прошлого.

Термин «символическая политика» в последние годы получил заметное распространение в научной литературе, особенно русскоязычной. Научная электронная библиотека elibrary.ru выдает более 600 наименований статей, релевантных данной теме. Курсы, посвященные символической политике, включены в программы подготовки политологов в ряде российских вузов. В 2019 г. «символическая политика» вошла в список перспективных направлений специального конкурса научных проектов Российского фонда фундаментальных исследований для обществоведов. Когда в 2012 г. мы с коллегами по ИНИОН РАН начинали издание сборника с таким названием, мы едва ли могли надеяться на столь активный интерес к данному исследовательскому полю. Как нетрудно заметить, интерес к символической политике особенно характерен для исследователей, занимающихся постсоветскими и посткоммунистическими странами². Трансформация прежних символических систем, опиравшихся на официальную идеологию, является важной составляющей современных политических процессов в таких странах, так что особенности эмпирического материала подталкивают к анализу символической политики. При этом и бывшие зарубежные советологи, и осваивающие

¹ Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17–18–01589.

² Джонсон Дж., Малинова О. Ю. Символическая политика как предмет political science и Russian studies: исследования политического использования прошлого в постсоветской России // Политическая наука. 2020. № 2. С. 17–41.

новую профессию политологи постсоветских стран имеют предрасположенность к интерпретирующим исследованиям. С одной стороны, изучение символической политики стимулирует продвижение современных качественных методов, с другой — в большом объеме новейшей литературы немало работ, ограничивающихся анализом на основе «внимательного чтения».

Подход, фокусирующийся на символической стороне политических явлений и процессов, сформировался в качестве ответа на самые что ни на есть «мейнстримные» проблемы американской политической науки. Его основоположником считается американский политолог Мюррей Эдельман. В книгах «Символическое использование политики» (1964 г.) и «Политика как символическое действие» (1971 г.) он попытался объяснить разрыв между теоретическими предположениями относительно функционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности. Ответ он искал, анализируя смыслы, которые транслируют политические институты и носители политических ролей. Эдельман доказывал, что оптика доминирующей парадигмы рационального выбора искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания³. По мысли Эдельмана, политическая наука должна исследовать не только «то, как люди получают от правительства то, чего они хотят» (отсылка к заглавию известной работы Г. Ласуэлла «Политика: кто получает что, когда и как»), но и «механизмы, посредством которых политика влияет на то, чего они хотят, чего боятся, что считают возможным и даже кто они есть»⁴.

Эдельман полагал, что манипулирование символами, которые он интерпретировал как «способы организации репертуара воспринимаемой информации в нечто осмысленное»⁵, является непременным элементом таких механизмов.

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее существует солидное количество исследований, посвященных изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методологический арсенал которых весьма разнообразен. Прилагательное «символический» широко применяется для описания политических явлений: исследователи рассуждают о «символическом использовании политики» и «политике как символическом действии»⁶, «символической власти»

³ Edelman M. *Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence*. Chicago: Markham Publishing Company, 1971. P. 7–8.

⁴ Edelman M. *The Symbolic Uses of Politics*. 5th ed. Urbana: University of Illinois Press, 1972 [1964]. P. 20.

⁵ Edelman M. *Politics as Symbolic Action*. P. 34.

⁶ Edelman M. *Politics as Symbolic Action*; Alexander J. C., Mast J. L. *Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice // The Cultural Pragmatics of Symbolic Action*. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 2006. P. 1–28.

и «символическом капитале»⁷, «символической политике»⁸, «символической деятельности как основе авторитета»⁹, «символическом оспаривании»¹⁰, «символических конфликтах»¹¹, а также о «символизме политики»¹² и «символах в политике»¹³. В большинстве этих словосочетаний прилагательное «символический» используется в расширительной трактовке: оно связывается с социально разделяемыми смыслами, опосредующими восприятие и поведение участников политических отношений. Вместе с тем некоторые авторы предпочитают говорить о «символах» в более строгом смысле — как о конвенциональных знаках, выражающих насыщенное и многомерное содержание; при этом нередко данное понятие понимается совсем узко (например, дело сводится к изучению государственной символики).

Концепт символической политики используется в конфликтологии, исследованиях публичной политики, политических коммуникаций, а также в работах, посвященных изучению коллективных действий. С ним давно работают и некоторые российские авторы¹⁴. При этом предлагаются различные определения ключевого термина.

⁷ Бурдые П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 2007.

⁸ Brysk A. "Hearts and Minds": Bringing Symbolic Politics Back in // *Polity*. 1995. Vol. 27, N 4. P. 559–585; Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // *Полис. Политические исследования*. 1999. № 5. С. 62–76; Поцелуев С. П. «Символическая политика»: к истории концепта // *Символическая политика*. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 17–53; Малинова О. Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // *Полис. Политические исследования*. 2010. № 2. С. 90–105; Малинова О. Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // *Символическая политика: сборник научных трудов*. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 5–16.

⁹ Smith K. E. *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. Ithaca etc.: Cornell University Press, 2002.

¹⁰ Gamson W. A., Stuart D. *Media Discourse as a Symbolic Contest: the Bomb in Political Cartoons* // *Sociological forum*. 1992. Vol. 7, N 1. P. 55–86.

¹¹ Harrison S. *Four Types of Symbolic Conflict* // *The Journal of Royal Anthropological Institute*. 1995. Vol. 1, N 2. P. 255–272.

¹² Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

¹³ Мисуров Д. А. *Политика и символы*. М.: Макс-Пресс, 2004; Gill G. *Symbols and Legitimacy in Soviet Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Fornäs J. *Signifying Europe*. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

¹⁴ Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация. С. 62–76; Мисуров Д. А. *Политика и символы*; Киселев К. В. Символическая политика: власть vs. общество. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2006; Малинова О. Ю. Конструирование смыслов: исследование символической политики в современной России. М.: ИНИОН РАН, 2013; Пушкарева Г. В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // *Полис. Политические исследования*. 2015. № 1. С. 55–70; обзор см.: Ефремова В. Н. О некоторых

На наш взгляд, наиболее существенный концептуальный водораздел связан с пониманием символической политики в качестве противоположности «реальной» или в качестве специфического, но неотъемлемого аспекта «реальной» политики.

Противопоставление «символических» и «материальных» аспектов политики связано с ее медиатизацией. В условиях, когда оценки публики зависят от репрезентации в СМИ, коммуникация становится относительно автономным видом политической деятельности. Это побуждает рассматривать манипулирование символическими ресурсами как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации рассматриваемое понятие было впервые введено в российский научный оборот С. П. Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика — это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов»¹⁵. Так понимаемая символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений»¹⁶. Таким образом, данный подход сфокусирован на публичной репрезентации политического процесса, которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматриваются идеологические конструкции, которые создаются элитами для манипуляции сознанием масс.

Данный подход полезен, поскольку концептуализирует широко распространенное явление. Однако, будучи сосредоточен на целенаправленных действиях элит, он не учитывает некоторые важные аспекты политической коммуникации.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, подчиняются их логике. Символическая составляющая политики не рефлексивируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью»¹⁷, не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призыва-

теоретических особенностях исследования символической политики // Символическая политика. Вып. 3: Политические функции мифов. М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 50–65.

¹⁵ Поцелуев С. П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация. С. 62.

¹⁶ Там же.

¹⁷ По Бурдьё, символическая власть — это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и тем самым воздействие на мир, а значит, сам мир...» (Бурдьё П. Социология социального пространства. С. 95).

ми принять их и не дебатировать в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах»¹⁸. Символическая политика не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман¹⁹.

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются влиятельнее других, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдьё, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства»²⁰. Постижение этой логики — едва ли не самая интересная задача для исследователей символической политики.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты — он ориентирует и на изучение деятельности акторов, включенных в символическую борьбу за изменения снизу. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т. п. Однако, несмотря на эти эксклюзивные возможности, доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешило: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления» и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка — не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

С учетом этого нам представляется продуктивным рассматривать *символическую политику* более широко — как *публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*. Понятая таким образом символическая политика является не противоположностью, а скорее специфическим аспектом «реальной» политики.

¹⁸ Edelman M. Politics as Symbolic Action. P. 45.

¹⁹ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Academia, Медиум, 1995.

²⁰ Бурдьё П. Социология социального пространства.

Борьба за смыслы в современном мире не сводится к традиционной идеологической борьбе. Она выражается не только в словах, но и в делах (властных решениях, нормативных актах, протестных акциях и т. п.). В качестве ее инструментов выступают и вербально оформленные «идеи» (принципы, концепции, доктрины, программы и т. д.), и невербальные способы означивания (образы, жесты, графические изображения и др.). Поэтому при изучении символической политики требуется сочетать приемы анализа дискурсов, политических стратегий и технологий.

Теоретическая рамка, заданная широким пониманием символической политики, ориентирует на исследование *взаимодействий широкого круга акторов*, продвигающих различные интерпретации социальной реальности, которые могут конкурировать, сопрягаться или поддерживать друг друга. В логике различения, имеющего место в английском языке, такой фокус анализа можно обозначить как *symbolic politics*. В качестве акторов символической политики *politics* могут выступать как группы, так и отдельные индивиды, если они способны производить интерпретации реальности, вызывающие общественный резонанс, и располагают ресурсами для их продвижения. С развитием информационных технологий доступ к таким ресурсам расширяется. Тем не менее ресурсы участников символической борьбы явно неравны. В силу этого особый интерес представляет поведение *институциональных акторов* — государства, церкви, в некоторых случаях политических партий, — которые располагают существенными властными, экономическими и организационными ресурсами для продвижения собственного видения социальной реальности. Такой ракурс анализа, изучение *логики их символических действий* можно было бы назвать *symbolic policy*.

Политика памяти как символическая политика

Символическая политика как борьба за смыслы — это не столько специальный «раздел» политики, сколько ракурс анализа, пригодный для изучения различных политических явлений и процессов. Тем не менее есть области, для понимания которых такой подход особенно продуктивен, поскольку деятельность, связанная с производством, продвижением и конкуренцией интерпретаций социальной реальности играет в них определяющую роль. Наиболее очевидным объектом для применения описанного выше подхода является политика памяти. Как точно заметил П. Бурдье, для внедрения новых представлений о строении социальной реальности «самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение,

предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего»²¹. Неудивительно, что исследования символической политики часто фокусируются на работе с прошлым и будущим²².

Даже при беглом знакомстве с литературой по *memory studies* становится очевидно, что в ней есть много конкурирующих понятий для обозначения если не идентичных, то весьма сходных явлений и процессов: «историческая политика»²³, «политика прошлого»²⁴, «политика памяти»²⁵, «коллективная/общественная память»²⁶, «историческая память»²⁷, «политическое использование истории»²⁸, «режимы памяти»²⁹, «культуры

²¹ Бурдые П. Социология социального пространства. С. 79.

²² Примечательно, что из пяти выпусков тематического сборника «Символическая политика», опубликованных ИНИОН РАН, три посвящены темпоральному измерению символической политики; при этом статьи о политике памяти имеются во всех пяти: Символическая политика, 2012; Символическая политика, 2014; Символическая политика, 2015; Символическая политика, 2016; Символическая политика, 2017.

²³ Heisler M. O. The political currency of the past: History, Memory, and Identity // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. Vol. 617, N 1. P. 14–24; Torsti P. Why do history politics matter? The case of the Estonian Bronze Soldier // *The Cold War and Politics of History* / ed. by J. Aunessluoma, P. Kettunen. Helsinki: Edita Publishing Ltd., 2008. P. 19–35;

Миллер А. И. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // *Историческая политика в XXI веке* / под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 7–32.

²⁴ Art D. *The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

²⁵ Колосов Н. Е. Память строгого режима: история и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Ачкасов В. А. «Политика памяти» как инструмент конструирования постсоциалистических наций // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2013. Т. XVI. № 4 (69). С. 106–123.

²⁶ Smith K. E. Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era; Müller J.-W. Introduction: the power of memory, the memory of power and the power over memory // *Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past* / ed. by J.-W. Müller. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 1–35; Wertsch J. V. Blank Spots in Collective Memory: a Case Study of Russia // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617. P. 58–71; Mäklsoo M. The Memory Politics of Becoming European: the East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // *European Journal of International Relations*. 2009. Vol. 15, N 4. P. 653–680 и др.

²⁷ Boyd C. P. The Politics of History and Memory in Democratic Spain // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617. P. 133–148; Winter J. Historical Remembrance in the Twenty-First Century // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. 2008. N 617. P. 6–13.

²⁸ Kangaspuro M. The Victory day in history politics // *Between utopia and apocalypse. Essays on social theory and Russia* / ed. by E. Kahla. Jyväskylä: Bookwell, 2011. P. 292–304.

²⁹ Langenbacher E. *Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations* // *Power and the Past. Collective Memory and International Relations* / ed. by E. Langenbacher, Y. Shain. Washington: George Town University Press, 2010. P. 13–49; Onken E.-C. *The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration: Analyzing Memory Politics in Europe* // *Europe-Asia Studies*. 2007. Vol. 59, N 1. P. 23–46; *Twenty Years After Communism: the Politics*

памяти»³⁰, «игры памяти»³¹ и др. Причем в перечисленные выше термины может вкладываться разное содержание. Поэтому, прежде чем перейти к обсуждению методологии исследования политики памяти в качестве символической политики, необходимо выстроить систему рабочих понятий.

Политика работает не с прошлым (ибо это то, чего больше нет), а с *социальными представлениями о прошлом*. При этом она имеет дело не столько с *историей* — систематической реконструкцией прошлого, основанной на критическом отборе, — сколько с тем, что принято называть *коллективной памятью*, т. е. с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, которое опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует *мифами* — упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как нечто «очевидное». На наш взгляд, правильнее говорить об *актуализированном прошлом* (по-английски — *usable past*) как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образовано уже состоявшимися мифами, периферия же представляет собой пестрый набор не столь «самоочевидных», но узнаваемых смысловых конструкций.

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации коллективного прошлого, мнемонические акторы далеко не всегда ставят во главу угла формирование определенной концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, укрепить солидарность группы, продемонстрировать несостоятельность оппонентов, приобрести материальные и организационные ресурсы и пр. В силу этого не все случаи *политического использования прошлого* могут быть описаны в терминах «исторической политики» или «политики памяти». Таким образом, политическое использование прошлого — наиболее широкая категория; она описывает любые

of Memory and Commemoration / ed. by M. Bernhard, J. Kubik. Oxford: Oxford University Press, 2014.

³⁰ Никхентайтис А. Модели памяти и культурных воспоминаний: Польша, Литва, Россия, Германия // Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. № 3. С. 17–32; Журженко Т. «Общая победа»? «Чужая война»? Национализация памяти о Второй мировой войне в украинско-российском приграничье // Пути России. Историзация социального опыта. Т. XVIII. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 93–125.

³¹ Mink G. Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms // Czech Sociological Review. 2008. Vol. 44, N 3. P. 469–490; Mink G., Neumayer L. Introduction // History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games / ed. by G. Mink, L. Neumayer. Basingstoke etc.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 1–20.

практики обращения к историческому прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию. Склонные к эмпирической точности политологи часто отдают предпочтение именно этому понятию, тем более что оно не содержит проблематичного слова «память».

Термин «историческая политика» возник как категория политической практики — сначала в 1980-х гг. в ФРГ, затем в 2000-х гг. в Польше; он обозначает определенный тип политики, использующей прошлое. *Историческая политика* — это особая конфигурация методов, предполагающая «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты»³².

Интерпретируемая таким образом историческая политика оказывается частным случаем *политики памяти*, которую мы предлагаем понимать как деятельность государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях — еще и законодательного регулирования.

Все три понятия — политическое использование прошлого, политика памяти и историческая политика — могут рассматриваться как проявления *символической политики*, т. е. публичной деятельности, связанной с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве.



Рис. 1. Соотношение основных понятий

³² Миллер А. И. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века.

На основе предложенной выше интерпретации символической политики можно сформулировать ряд теоретических презумпций для анализа коллективной памяти:

1. В современных, сложных по составу обществах память об исторических событиях гетерогенна: идентичности составляющих ее групп опираются на разные исторические мифы, что потенциально является основанием для конфликтов.
2. Коллективная память требует «опоры в виде символов, которые закрепляют воспоминания для будущего» и обеспечивают их «императивную общность» для следующих поколений³³. В формировании символического репертуара памяти — нарративов, образов, знаков, закрепленных в социально-культурной инфраструктуре — участвуют политики, писатели, кинематографисты, художники, журналисты и другие профессиональные группы, располагающие ресурсами для публичной артикуляции идей.
3. Политика памяти рассматривается как совокупность публичных взаимодействий мнемонических акторов, т. е. «политических сил, заинтересованных в особом понимании прошлого»³⁴.
4. Ресурсы мнемонических акторов неравны; их распределение отражает структуру отношений власти и доминирования.
5. Гегемония тех или иных версий памяти о давнем или недавнем прошлом является динамическим результатом взаимодействия (конкуренции или конвергенции) разных нарративов.

Эти презумпции составляют теоретическую рамку, которая позволяет исследовать различные аспекты политики памяти — публичные споры об историческом прошлом, эволюцию позиций влиятельных акторов, формирование социально-культурной инфраструктуры памяти об исторических событиях, политику в области образования и многое другое. Ниже на примерах отдельных исследований мы проиллюстрируем возможности данного подхода и рассмотрим связанные с ним дополнительные методологические инструменты.

Теория общественных дебатов (*public debates*) как механизма политических изменений (Д. Арт)

Для объяснения различий политики в отношении нацистского прошлого в ФРГ и Австрии Дэвид Арт сформулировал основы теории, которая представляет общественные дебаты (*public debates*) о прошлом как

³³ Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 32.

³⁴ Twenty Years After Communism: the Politics of Memory and Commemoration. P. 4.

механизм изменения политики³⁵. Споры об уроках прошлого распространены повсеместно. И это неудивительно, поскольку драматический XX в. оставил многим странам трудное наследие революций, гражданских войн, массового насилия и этнических чисток. Однако они имеют разные политические последствия. Это наблюдение послужило отправной точкой для поисков механизма, способного объяснить связь между спорами о прошлом и современными политическими процессами. Согласно теории Арта, общественные дебаты являются важным инструментом политических изменений, ибо они «формируют новые фреймы для интерпретации политических проблем, меняют идеи и интересы политических акторов, трансформируют структуру отношений между ними и переопределяют границы легитимного политического пространства»³⁶.

Общественные дебаты Арт определяет как «совокупность интеллектуальных обменов между представителями политической элиты, о которых сообщают СМИ»³⁷. При этом он уточняет, что в качестве механизма политических изменений способны выступать не любые дискуссии, а те, которые отвечают критериям *широты*, *продолжительности* и *интенсивности*. *Широта* определяется составом участников (в действительно широкие общественные дебаты включаются все сегменты политического спектра), характером обсуждения (позиции не просто единожды высказываются, но повторяются, истолковываются и иногда модифицируются в ходе дискуссии) и характером освещения в СМИ (чтобы стать фактором политических изменений, дискуссии должны отражаться в общенациональных СМИ с разными идеологическими позициями и разной аудиторией, т. е. как в массовых, так и в интеллектуальных изданиях). *Интенсивность* указывает на частоту интеллектуальных обменов в ходе дискуссии (измеряется количеством текстов, отражающих разные мнения, — редакционных статей, колонок комментаторов, писем читателей — в определенный период времени). Кроме того, чтобы стать фактором политических перемен, общественные дебаты должны быть достаточно *продолжительными*. Арт исследовал дебаты, которые длились по крайней мере год³⁸.

Споры об уроках прошлого часто соответствуют перечисленным выше критериям. Для этого есть как минимум две причины. С одной стороны, прошлое — это «легкая» тема для дискуссии, ибо благодаря массовому школьному образованию и культурной инфраструктуре памяти многие считают себя достаточно компетентными, чтобы иметь собственное мнение об

³⁵ Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria.

³⁶ Ibid. P. 14.

³⁷ Ibid. P. 30.

³⁸ Ibid. P. 30–33.

исторических событиях и фигурах³⁹. С другой стороны, особая значимость интерпретаций прошлого определяется тем, что они содержат причинные утверждения о политике вообще. Обсуждая уроки истории, политические элиты фактически спорят о том, какие идеи и ценности должны направлять современное политическое сообщество⁴⁰.

Арт выделяет три последовательных шага, описывающих механизм влияния общественных дискуссий на политическую среду:

1. Общественные дебаты формируют и консолидируют *фреймы* (упорядоченные наборы сообщений относительно определенного аспекта политического мира), которые, в свою очередь, влияют на политическое поведение и могут стать устойчивыми элементами политической культуры.
2. Общественные дебаты провоцируют сдвиги в мнениях элит: способствуют сближению их позиций или, напротив, разводят их по разные стороны баррикад. Крайние варианты их исходов — конвергенция и поляризация. Предсказывать такого рода исходы трудно; однако они весьма значимы для будущих конфликтов и для формирования массовых ориентаций.
3. Общественные дебаты меняют границы легитимного в представлении более широкого политического сообщества, причем делают это тремя способами: а) они формируют нечто вроде «политкорректности», определяя область приемлемых понятий и санкции в отношении нарушителей конвенций; б) вводят в политический дискурс прежде табуированные проблемы, тем самым расширяя границы приемлемого; в) могут создавать новые кодовые слова для старых идей, в результате чего меняется язык, на котором элиты, а затем и простые граждане обсуждают проблемы⁴¹.

В качестве участников общественных дебатов Арт рассматривает политические элиты. При этом он подчеркивает, что элитам не всегда удается манипулировать массовыми ориентациями: публичные выступления политиков нередко приводят не к тем результатам, на которые они рассчитывали. Общественные дебаты открывают окна возможностей и для акторов с относительно слабыми ресурсами, например — гражданских активистов, давая им возможность усилить свое публичное присутствие и мобилизовать часть общества. В свою очередь, СМИ не только распространяют послания политических элит, они модифицируют их, вбрасывая в дискуссию новые темы⁴².

³⁹ Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria. P. 3.

⁴⁰ Ibid. P. 15.

⁴¹ Ibid. P. 1–2.

⁴² Ibid. P. 2.

По Арту, «общественные дебаты запускают процессы, меняющие политическую среду, в которой они происходят»⁴³. Таким образом, они могут рассматриваться в качестве механизма политических изменений. Теория Арта ориентирует на изучение того, как идеи создаются и изменяются в процессе общественных дебатов. Хотя стратегические расчеты здесь значимы, идеи, высказываемые в ходе обсуждения, также играют свою роль. При этом не обязательно побеждает сила аргументов: нередко популярность приобретают логически противоречивые интерпретации. Поэтому главным инструментом исследования идеационных изменений должен быть анализ самих дебатов: ни моделирование стратегических расчетов, ни логическая проработка аргументов в жанре нормативной политической теории не объясняют политические исходы общественных споров.

Предложенная Артом теория *общественных дебатов как механизма политических изменений* является важным аргументом в методологической дискуссии о роли идеационных факторов в политике⁴⁴. Арт протестировал ее на примерах дискуссий о нацистском прошлом в Германии и Австрии в 1980–2000-х гг. Он продемонстрировал связь между исходами этих дебатов и судьбой правых партий в названных странах. Разумеется, этого недостаточно для полноценного подтверждения теории. Однако мы имеем частично проверенную модель объяснения, которая может служить основой для последующих исследований.

Исследования нарративов

Главным форматом репрезентации прошлого как в историографии, так и в политическом дискурсе является *нарратив* — сюжетно оформленное повествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий. Связность достигается за счет генеалогического принципа изложения, благодаря чему «событие отсылает к каким-то своим будущим последствиям (именно к последствиям, а не к причинам)»⁴⁵. Тем самым нарратив «объясняет», апеллируя к связям, которые предположительно прослеживаются «в самой истории». Отбор, в результате которого формируется смысловая схема нарратива, происходит имплицитно. Это

⁴³ Ibid. P. 3.

⁴⁴ Подробнее см.: Малинова О. Ю. Идеи как независимые переменные в политических исследованиях: в поисках адекватной методологии // Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 90–99.

⁴⁵ Зенкин С. Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html> (дата обращения: 15.04.2020).